

Ф.М. Решетников

Между людьми

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Ф11

Ф11 **Ф.М. Решетников**
Между людьми / Ф.М. Решетников – М.: Книга по Требованию, 2021. –
160 с.

ISBN 978-5-4241-1387-1

Ф. М. Решетников дебютировал в печати очерками в «Пермских губернских ведомостях» в 1862. Первое значительное произведение — этнографический очерк из жизни бурлаков «Подлиповцы», опубликованный в журнале «Современник» (1864).

В незавершённых романах «Горнорабочие» (1866), «Глумовы» (1866—1867; отдельное издание 1880), «Где лучше?» (1868), очерках «Рабочие лошади», «На большой дороге» (1866), «Очерки обозной жизни» (1867) изобразил быт горнозаводских рабочих. Впервые в русской литературе описал забастовку.

Автор рассказов, повестей «Ставленник» (1864), автобиографической повести «Между людьми» (1865), романа «Свой хлеб» (1870), посвящённого женской эмансипации.

ISBN 978-5-4241-1387-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Ф.М. Решетников, 2021

Федор Михайлович
Решетников
Между людьми

ОТ АВТОРА В ВИДЕ ПРЕДИСЛОВИЯ

Мне нравится ходить в кабачки, каких в Петербурге очень много, и нравится ходить преимущественно в многолюдные, находящиеся на многолюдных улицах, где живет рабочий народ; также нравится ходить и в дешевенькие трактиры, гостиницы, когда по вечерам, в будни, под праздник и в праздники, стекается отвести душу простой народ. Подите вы в воскресенье Апраксиным переулком между Садовой и Фонтанкой - и вы увидите много рабочего народа, который то стоит кучками, то сидит в разных местах, то заходит в питейные и трактирные заведения. Из этих заведений слышатся крики, песни и пляски, и вам придет в голову: экой этот народ пьяница! Но не так заключаю я.

Не помню, которого числа февраля или марта месяца 186* г. я зашел в один дешевенький трактир. Выпив рюмку водки, я сел к столу и закурил папироску. Народу было не так чтобы много, но для этого трактира достаточно. Песни и пляски рабочих и мелких торгашей слышались даже на улице, поэтому легко себе представить читателю, что значат песни и пляски в самом трактире, - а это знает, я думаю, каждый житель Петербурга. Но кроме этого, в трактире много было спорщиков, которые, сидя за столами, выпивали очищенную, крымскую или наливку, закусывая огурцами, редькой или просто куском хлеба. Было много и таких, которые сидели поодиночке: недалеко от меня сидел человек в чуйке, покачивался и что-то бормотал; возле него сидел человек в армяке и несвязно выговаривал: "В орган заиграй!.. заиграй... пяти цалковых не пожалею!.. все отдам..." Сцен много; различные эти сцены часто доходят до драк, и жалко становится за человека, да ничего тут не поделаешь, и всякое насилие для того, чтобы остановить пьянство, будет напрасно. Почему это так, мы увидим дальше.

За одним столом со мной сидел человек лет двадцати шести. Таких людей мы видим постоянно и не обращаем на них никакого внимания. Первое, что бросается в глаза, - это растрепанные волосы, бледное лицо, разбитая бровь. Надето на нем суконное пальто, грязное, продранное в разных местах, изобличающее его в том, что он или драться любит, или его бьют. Пальтом он не закрывается; поэтому полы пальто лежат на полу, и видится грязная холщовая рубаха и серые тиковые коротенькие брюки; на ногах что-то вроде калош. Но он еще не пьян. Положивши руки на стол, левую на правую, и сжавши не мытые с неделю кулаки, он зорко наблюдает за людьми своими серыми глазами и, кажется, хочет вмешаться в разговоры, да сдерживается. Я заметил, как он посмотрел на меня, когда я вошел в трактир, как выпил рюмку водки и строго взглянул, когда я сел... Ему, как видно, хотелось заговорить со мной, но я уклонялся от этого, а он не начинал. Вдруг он сказал мне:

- Одолжите мне, если есть, папироску! Я дал. По произношению я затруднился заключить: рабочий ли он, или из чиновного разряда.

- Не поверите ли, как хорошо здесь.

- Почему?

- Народ хороший. Славный народ... Выпьемте.

Мы выпили по рюмке.

А в соседней комнате какой-то господин настроивал на гитаре "Во саду ли в огороде девица гуляла" и другие песни, и под эту игру публика плясала и пела. Вдруг к моему соседу подошел здоровенный мужчина в красной рубахе и в синих

выбойчатых штанах. Он был полупьян. Ударив по плечу соседа, он сказал:

- Петька! спой "возле речки".

- Неохота.

- А, чтоб те!.. выпить, што ли, хошь?

- Нет... - В голосе его слышалось отчаяние. Мужчина принес к нему косушку перцовки. Выпили, и мой сосед ушел в соседнюю комнату, где плясали. Слышу, кто-то поет басом "возле речки", - правильно, хорошо, с чувством, то повышая, то понижая голос, как будто бы он был в левчих. Пели сначала и рабочие, но потом перестали, а пел только мой сосед, под аккомпанемент гитары.

Молодец, Петька!.. - закричали рабочие по окончании песни и просили его спеть другую. Я ушел.

Еще раза два приходилось мне видеть его в течение двух недель в трактире, и даже раз я видел его с гитарой, на которой он играл порядочно. Потом я его не видал долго. Однажды прихожу я в Обуховскую больницу, где лежал один мой товарищ. Рядом с его кроватью лежал человек, покрытый простыней, и около этой кровати суетились служителя и фельдшер.

- Вот и со мной то же будет! - сказал мне товарищ.- Еще час тому назад говорил, а теперь лежит мертвый.

- Кто такой?

- Канцелярский служитель Кузьмин... Его привезли сюда из квартала едва живого: пьянствовал все.

Открыли простыню - и что же? Я увидел того самого Петьку, который месяца два тому назад сидел за одним столом со мной, пил со мной водку и потом пел... Жалко мне стало его. Я рассказал об нем товарищу.

- Он мне подарил тетрадку. В ней написано, как он жил здесь, в Петербурге. Мне ее не надо, возьми. Вот что рассказывал про себя Кузьмин.

Часть первая

ДЕТСТВО

Зовут меня Петром Ивановичем Кузьминым. Воспитывали меня родной брат моего отца и его жена, которых я называл, как они меня учили, сначала тятенькой и мамонькой, а как вырос больше - папенькой и маменькой. Теперь же, в письмах к ним, я их называю уже папашей и мамашей.

Мать моя, как говорят мои воспитатели, умерла через сорок недель после моих крестин, бывших на третий день по моем рождении. Поэтому я не помню ее; портрета же ее я никогда не видел. О моих отношениях к матери вот что рассказывала тетка, когда ей хотелось похвастаться своей добротой.

- Мать твоя, как теперь помню, лежала в больнице, в голубеньком ситцевом платьишке, и как только я принесу тебя к ней, ты и замашешь ручонками, и заревешь. Возьмет тебя мать на руки, ты глядишь так как-то весело глазенками, и слюни у тебя бегут по губам. Ничего ты не понимал, безрогая скотина, а тоже что-то было у тебя такое, что ты не ревел, когда тебя брала мать на руки. А возьмет тебя другой, ты заревешь, даже если и я возьму тебя от матери, ты долго реवेश и грудь сосать не хочешь...

Могу вам положительно сказать, что я, кажется, начал понимать с третьего или четвертого года, потому что я кой-что помню за это время, а раньше я был положительно глуп и такая же бестолочь, как кукла, только живая кукла.

Когда уж я сделался рослым мальчишкой и навидался разных ребят годовалых, я удивлялся: неужели и я был такой же соплявый, ревун и бестолочь? Я сравнивал этих годовалых людей с годовалыми кошками и собаками, и мне почему-то досадно было, что кошки и собаки в это время лучше понимают, чем годовалый человек; по крайней мере, с ними возни нет. И неужели, думал я, так же мучились и со мной, как мучатся и с этими ребятами, так же колотили за рев, как и их? Тетка это подтверждала.

И то, что я видел и что я делал на четвертом году, я помню очень плохо. Я помню только то, что особенно произвело на меня впечатление; например, я помню, как один раз, ночью, меня разбудили стукотней и криком мои воспитатели. Они бегали и кричали: пожар! пожар! И действительно, горел соседний дом. Я в испуге дрожал и ревел. Думал ли я что-нибудь в это время - не знаю, а помню хорошо, что я кричал на весь дом и держался руками за платье тетки так крепко, что когда она меня стала бить и отрывать от себя, я порвал у нее платье и снова вцепился за него зубами так плотно, что укусил даже самую тетку в какое-то место... Помню, как я в первый раз смотрел, как идет лед на реке, как появился первый пароход,- и удивлялся всему этому.

Помню, что я был большой баловник и ел очень много. Только пробужусь - и кричу: ись! ись! Поставяю самовар - я уже и лезу в шкаф, достаю чашку и иду к тетке: мама, ись! Это очень забавляло дядю и тетку, но они старались всячески отучить меня от обжорства, так как я просил есть раз по десяти в день. Жилось мне как-то нескудно: я или играл с детьми наших постояльцев, или с кошкой, или с собакой; или терся при тетке, стараясь перенять ее стряпню; или заглядывал, забившись на стул, как дядя пишет что-то на бумаге... Вижу я, что сначала

на бумаге много места пустого, а как дядя поведет пальцами с пером и сделается ровная черточка, и много-много будет эдаких черточек! Сначала я только удивлялся этому, а потом мне почему-то смешно становилось, как дядя пишет-пишет - и изругается, а потом скоблить начнет.

- Чему ты гогочешь, пес! - закричит дядя. Я того пуше засмеюсь. Дядя прогонит меня, а я опять зайду к нему тихонько сзади. Сначала креплюсь, а потом и прысну со смеха... Мне хорошо казалось, как дядя ворчит; мне играть хотелось с ним, и я толкал его в правое плечо, за что мне больно приходилось. Любил я после этого представлять дядю, или вернее - мне хотелось ухитриться сделать так же, как делает он. Возьму я кусочек бумаги, подойду к столу и начну чертить на бумаге пером с чернилами; но у меня выходило все криво, все дуги, да колеса, да круги, и меня это очень забавляло. Кончу я свою работу и кажу тетке или кому-нибудь в восторге; те меня хвалят. Но я часто надоедал своей работой тетке, и она ругала меня за то, что я бумагу порчу, руки и рубашку мараю в чернилах. От меня стали прятать чернила и карандаши, я стал слюнями писать или черкал, где попало, углем.

Весьма хорошо казалось мне, как меня тетка возила зимой в пошевенках, или санках, когда она ходила на рынок или в гости. Я не любил ходить пешком; если оставляли меня дома, я кричал и боялся, думая, что меня утащит черный мужик-трубочист, посадит меня в мешок и бросит в прорубь. А этому меня напугала тетка и ее родные. Тетке хотелось показать людям своего сына, а я не хотел идти; нести меня тяжело ей было; вот она и возила меня в санках; да ей и жалко было меня: "Куда ему еще ходить! мал очинно!" Также мне хорошо казалось, когда у нас собирались гости или когда я бывал в гостях. Чего-то чего тут не было! Поют песни; говорят как-то весело, кричат, ругаются. Я тогда, одетый в новую рубашку и новые штаны, которые тетка называла штаниками, сидел смиренно на стуле, глядел на всех или на того, кто мне больше нравился, - и удивлялся. Если бывали дети, я играл с ними в углу скорлупами от орехов. Но больше всего мне нравилось, когда меня дарили пряниками и сладостями. Тетка давно старалась приучить меня к тому, чтобы я благодарил за подарки, но я туг был на это.

- Что же ты, балбес, не говоришь: покорно благодарю, мол?

Я молчу. Мне совестно; я щиплю рубашку, смотрю в угол.

- Ну, говори!

Молчу. Чувствую, что плакать хочется, а думаю: не скажу!

- Экой упрямой! Ну, вперед не получишь. Знаешь ты: ласковое телятко две матки сосет, а упрямое одной не видит, - и пойдут, и пойдут говорить наставления; а я кукоюсь и злюсь: а не скажу! А все-таки хочется больше набрать сладостей. Бывали случаи, что я, когда проворчатся и уже не подают сладостей, вдруг скажу: "Покорно благодарю" - чуть-чуть слышно. И совестно мне, и чувствую, что щеки горят, и легче кажется; а сам все-таки думаю: "Ну, и черт с вами! вслух все-таки не скажу. Право, не скажу!.."

Тетка любила рассказывать каждому новому знакомому, а старым знакомым в сотый раз, про моих настоящих родителей. Надо заметить, что незнакомые тетки почитали меня за ее сына, а знакомые ее не верили ей, когда она говорила, что я воспитанник, и начинала рассказывать целую историю: кто была моя мать, отец, как она умерла и проч. Мне досадно было, например, вот это: пойду я куда-нибудь с теткой по городу (у тетки много знакомых: знакомые были все люди

бедные, и штук тридцать из нищей братии), попадетсЯ какая-нибудь женщина и смотрит на меня.

- Это твой сынок-то?

- Како мой; на воспитание взяла.

- Ой ты, матка! не врешь ли?

- Сичас умереть.

- Да чей же он такой?

- Братнин. Женили брата, пьяницу; а мать умерла.

- Эко диво! Отчего же она умерла-то?

- Да с пожару. Испугалась, знаешь, и захворала. Вот мне на шею и бросил.

- Ну, матка, вырастет, возблагодарит.

- Ну уж, дожидайся! Он и теперя такой, что беда.

- А ты, дитяtko, слушайся маменьки. Слушаться надо. А у тебя, матка, нету-ка своих-то детей?

- Нету; да куда с ними.

- Все же родной-то лучше.

Я замечал, что тетка делала глаза как-то строго при этих словах, и думал, что ей это не по нутру. История же моих родителей была такого рода: оба они были духовного звания, да и другие родственники наши тоже были этого звания, но им не посчастливилось, и они вышли в светские очень рано. Так, дед наш был дьячок, а дядя на четырнадцатом году был уже почтальоном; отец мой был дьячком. Он воспитывался у дяди, так как отец его был очень бедный человек и семейный. Он рано начал пить водку и рано спился совсем. Дядя и молодая его жена, желая избавиться от него и желая сделать его годным человеком, то есть чтобы он не пил водку, задумали женить его. Вот что говорила про эту женитьбу тетка:

"Ну, и стала я сбивать его жениться.

- Послушай, говорю, брат, женись!

- На кой мне леший жениться? - говорит он.

- Водку не станешь пить.

- Не знаю... А што?

- Право, женись.

- А жить-то как?

- В почтальоны ступай.

- Ну, и то ладно, - А сам после этого пойдет, слышь ты, и налижется, как стелька...

Была у меня на примете девушка, сирота дьяконская. Смирная такая, красивая, рукодельница. Жила она тоже у чиновника, рядом с нашим домом. Ну, и посоветовала я ей выйти замуж за брата. Долго она не шла: боюсь, говорит, пьяница жених-то, да и ни у него, ни у меня ничего нет. "Ничего, говорю, мы поможем". Ну и согласилась. Брат ходил к ней две недели и водку не пил в это время. Золото стал человек. Только вели-то они себя, как чужие. Придет он к ней, поклонится и скажет: здравствуйте...

- Здравствуйте, - ответит она и покраснеет. Она сядет на стул к столу и начнет вышивать, а он пойдет в кухню, трубку курить. Накурится, посидит на диване и пойдет домой. Придет домой он, я и спрашиваю его:

- Ну, что, нравится?

- Ничего... ладно.
- А разговаривал с ней?
- Чего говорить-то?

Ну, и велю я ему кедровых орешков снести невесте на другой раз... Так и женили мы его. Как женили, он и запил. Она, бедная, все плакала... все плакала... хорошо, что он не бил ее и не бранил, и из ее вещей ничего не пропивал. Да и у нее, голубушки, ничего лишнего не было. Луж такая-то была смиренная, дай бог ей царство небесное!.. И стала, слышь ты, я замечать, что она в тягости!.. И больно же она, голубушка, плакала.

- Отчего, - говорю, - ты все плачешь?

- Не знаю, - говорит.

- Ну, полно; он, может, и перестанет пить.

- Да он дома-то редко живет, да и со мной-то редко сидит: придет, завалится спать на полати; а встанет-наестся и опять уйдет.

Уж я говорила ему, чтобы он ладненько жил с ней; он только молчал. Поступил он в почтальоны - и хуже запил. Жили мы тогда в уездном городе. Его перевели в губернский, и нас тоже перевели. Надо нам было ехать, она и родила вот этого балбеса. Только мы приезжаем в губернский все вместе, а там весь город горел в это время; она испугалась и захворала. Думаю: куда мне с ней возиться, - и свезла я ее в больницу. Она и говорит мне: возьми ты, сестричка, моего ребенка к себе... Уж не оставь, ради бога, будь матерью... Слушаться не будет - на колени ставь. А как она, голубушка, любила-то его (т. е. меня)! Да не дал бог веку, умерла. Ну, думаю, куда девать парня, - и взяла к себе... Теперь уж покаялась, да поздно".

Всем этим рассказам я сначала не верил, а потом в голову начинала закрадываться мысль: что же это такое, в самом деле, тетка говорит? Какая еще такая у меня была мать, и, говорят, какой-то отец есть, а я его не вижу! врут, поди! И больше этого ничего не придумал. Мне хороню жилось: я играл, пил, ел вволю, и хотя меня крепко полагивали за баловство, но все-таки тетка меня и ласкала частенько в это время.

На шестом году, когда я уже понимал больше, я не то что любил своих воспитателей, но, как говорится, был привязан к ним. Дядя меня никогда не ласкал, и я почему-то всегда боялся его. Тетка хоть и колотила меня, но и ласкала, кричала на меня - и всячески заботилась, чтобы я был сыт, цел, то есть не порезал бы руку, и чтобы рубашка моя была всегда целая и чистенькая. Я, кажется, любил тетку, и как ни больны были ее колотушки, и как я ни ревел с досады, что я сам не смею дать сдачи, я все-таки любил тереться при ней и при этом что-нибудь спакостить: например, в квашонку с тестом бросить что-нибудь, да так, чтобы она не заметила этого; вяжет она чулок, я петли распушу, когда она уйдет, а потом говорю, что это кошка сделала; поет она песни, и я тоже стараюсь подтягивать ей, только выходило очень плохо; начнет она шить, я лезу к ней, терблю ее за сережки, вдернутые в кончики ушей, хватаю ее за шею руками... И все это, как помню я, делалось бессознательно, вероятно потому, что мне хотелось играть. Тетки я не так боялся, как дяди, к которому я не имел такой привязанности, как к тетке, вероятно потому, что он дома бывал редко, со мной ничего не говорил и гнал меня прочь, если я лез к нему. Я любил все, что только впервые попадалось мне на глаза. Купит что-нибудь тетка, я смотрю, удивляюсь, расспрашиваю,

стараюсь в руки взять, на себя напаялить, углем начернить или съесть, - смотря по тому, какая вещь. И мне крепко доставалось за мое любопытство. Особенно мне доставалось за книгу "Священная история Ветхого и Нового завета", с картинками. У дяди только я и видел эту книгу, - на столе, в переднем углу. Смотреть ее мне строго запрещалось. Дядя из нее ничего не читал, и только тетка старательно каждый день стирала с нее пыль, по привычке стирать пыль с таких вещей, которые ей казались дорогими. Когда дяде и тетке нечего было делать, тетка брала эту книгу, ложилась на кровать к дяде и просила его почитать:

- Ну-ко, читай, что тут?..

- Уйди, стану я читать!

- Почитай, ты ведь у меня золото. Ах, если бы я умела грамоте!

- Не хочу. Мало ли что тут писано.

- А это что за картинка?

Я встrepенусь и подбегаю к кровати.

- Ты зачем! - закричит на меня тетка.

Я молчу: знаю, что меня не звали, а уйти не хочется. Дядя начнет рассказывать тетке содержание картинки или читать; тетка повернется к нему лицом, а я забьюсь на стул к подушкам и стараюсь заглянуть на картинку. Досадно мне, что картинка кет, и я протягиваю к книжке руку. Дядя заметит это и щелкнет меня книжкой по лбу:

- Тебе говорят, балбес ты эдакой, или нет? Пошел!

Я стою.

- Ах ты подлая рожа. Где ремень?

Я убегу.

Зато как останусь я один дома, то вволю насмотрюсь на картинки, на листки и на переплет. И достанется же тогда книге: мне очень нравилось прокалывать иголкой или булавкой глаза изображенным на картинке людям и прокалывать также буквы, или чертить карандашом на листках разные каракули. Дядя, когда читал книгу, догадывался, что это мои проделки, и тетка расправлялась со мной, заставляя целый день простоять на коленях в углу. Мне обидно казалось стоять, и я решил, что лучше будет если я картинку вырву из книги, а самую книгу брошу в печь. Долго я хохотал над своей выдумкой и ждал к тому случая. Так и сделал. Раз вечером, когда дядя и тетка ушли в гости, а меня оставили домовничать, я запер двери на крючок, подбежал к столу, схватил книгу и начал операцию. Помню, что мне страшно почему-то казалось вырывать из книги картинку, и я думал: а что, если они воротятся? а если они теперь в окно смотрят? Я погасил свечку, подошел к окну и прилежнее прежнего продолжал свою операцию, выдирая как попало, лишь бы скорее кончить работу... Книгу потом я спрятал под шкаф, где лежали только старые теткинны ботинки. Дядя и тетка домой пришли поздно, когда я уже спал. Книги они не хватились; а тетка еще, как раздевалась, дала мне конфетку, пряник и грецкий орех. Целую ночь я не спал. Как только тетка склала утром в печку дрова, я живо бросил книгу в печь, но бросил так, что она свалилась набок, к самой стенке. Тетка стала затоплять печь. Она любила, чтобы у нее дрова в печке хорошо были складены; поэтому она, заметив книгу, сначала подумала, что это кирпич.

- Что за дьявол, откуда это кирпич? Сверху, что ли, выпал... - и стала вытаскивать клюкой этот кирпич. Каково же было ее удивление, когда она увидела

свою любимую книгу без картин и с ободранными листками!

Дядя долго меня драл ремнем за эту проделку.

Он очень любил картинки, но никогда не покупал их. Раз ему подарил кто-то картинку лубочный фабрики, изображающую войну. Дядя стал любоваться на картинку с теткой, а я сидел в углу. Больно меня брало любопытство посмотреть картинку, точно меня бес толкал в бока.

- Ишь, дьявол! Смотри-ко, это, поди, в эполетах-то, - генерал? - говорила тетка.

- Как же.

- А это?

- Ты смотри: у этого орденов сколько, - и это генерал.

- Экое счастье... Гляди же, сколько он людей-то давит! Смотри, копыто-то на трех головах стоит... А саблей-то вон пятерых зацепил...

Между тем я уже подкрался к ним; приподнялся на пальцы ног - не видать; зашел сбоку.

- Ты что? - крикнул дядя.

Я отошел немного и скорчил глаза. Тетка пожалела меня и подозвала к столу. Я ничего не понимал в картинке, и когда дядя взял ее в руки, я хотел еще посмотреть и рванул ее так, что одна половина ее осталась в моей руке. За это дядя так ударил меня по голове, что я ударился об пол; изо рта пошла кровь.

С этих пор я крепко не залюбил дядю.

Меня учили молитвам, учили молиться утром, вечером, перед обедом и ужином и после них; учили уважать и почитать старших, любить тетку и дядю, называть их родителями - и всему этому учила меня тетка. Но молитвы я знал плохо, а знал больше песен и сказок; тетку и дядю я уважал, боялся, и так как я был мал, то без их спросу ничего не мог сделать, и это бессилие свое я испытывал на себе каждый день. Старших я не мог любить всех, а любил только тех, которые были ласковы ко мне; с кем хороши были мои воспитатели, кого они любили, того и я называл хорошим человеком и к тому лез без церемонии. Одно только я не мог тогда понять: зачем мне молиться еще за родную мать и за родного отца? ведь я не видал их? Зачем молиться за отца, когда тетка называет его пьяницей и часто пугает меня тем, что отошлет меня к нему?.. Тетка мне на мои вопросы или отвечала бранью, что я бестолочь, скот и проч., или говорила, что молиться нужно. Молился я вслух, по принуждению, так: умою лицо, становлюсь среди комнаты и начинаю молитву; вдруг тетка крикнет: подожди, балбес! рано: чай не поспел... Я отойду, сяду в угол и жду: скоро ли будет готов чай. Наконец чай готов; дядя и тетка садятся за стол; я становлюсь посередине комнаты и говорю вслух молитвы. Все молчат. Если я ошибусь, тетка поправит меня.

Больших усилий стоило ей растолковать мне, что у меня была родная мать, что не она, тетка, родила меня, а только воспитывает и кормила меня поначалу грудью, как свое детище. Но мне тогда все равно было: родная она мне мать или нет. Я только знал и понимал, что она меня кормит и что за обиду, нанесенную мне уличными мальчуганами, которые нередко тревожили мой нос до крови, всегда заступалась; значит, я был не чужой ей. Я плохо понимал тогда, что значит мать, отец и сын, и только гордился иногда тем, что живу у таких людей, которых любят другие люди, и часто важничал. Например, бывало, придет какой-нибудь нищий к нам, я и говорю ему: "Дома нету!" А сам думаю: "Вот и ничего не дали.